

Всеволод Соловьев

Княжна Острожская



Всеволод Соловьев
Княжна Острожская

«Public Domain»

Соловьев В. С.

Княжна Острожская / В. С. Соловьев — «Public Domain»,

Вторая половина XVI века. Силен еще князь К.К.Острожский, ревнитель православия в Западной Руси. Но и иезуиты, всеми правдами и неправдами пробравшиеся во владения князя, набирают силу. Все яростней разгорается борьба православия с иезуитами. Не обходит стороной эта борьба и чистую любовь князя Сангушки и княжны Острожской – Гальшки. Однако сам князь Острожский вступается за молодых. Что из этого выходит, читатель узнает в конце романа – этой прекрасной песни любви и стойкости духа.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	6
I	6
II	11
III	15
IV	19
V	23
VI	28
VII	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Всеволод Сергеевич Соловьев

Княжна Острожская

ПРЕДИСЛОВИЕ

В тяжелое время довелось жить князю Константину (Василию) Константиновичу Острожскому (1526–1608), сыну гетмана великого княжества литовского, киевскому воеводе и ревнителю православия в Западной Руси: в 1596 году была заключена Брестская уния. То, чего в течение нескольких веков добивались католики, свершилось: православные украинцы и белорусы, проживающие в пределах Речи Посполитой, должны были признать догмат об исхождении святого Духа, учение о чистилище, главенство папы римского, правила и постановления Тридентского собора. Церковные же обряды и богослужение на родном языке оставались неприкосновенными. Король польский Сигизмунд III, страстный католик, всячески поощрял сторонников унии, обещая им различные милости. Казалось, что вслед за протестантизмом сломлено в Речи Посполитой и православие. Однако православные предали анафеме униатов, а униаты – православных. Начались долгие годы борьбы православных с униатами... Сколько людей сгубила эта борьба! Сколько сил отняла у украинского и белорусского народов! Как затормозила их развитие! И по сей день кровоточат четырехсотлетние раны... Что может быть страшнее и бессмысленнее религиозных распрей?!

Страницы предлагаемого читателю романа «Княжна Острожская» переносят его в те времена, когда эти распри только разгорались. Чистой любви князя Сангушки и княжны Острожской – Гальшки всячески противятся иезуиты, всеми правдами и неправдами пробравшиеся в Западную Русь. Не только желание иезуитов совратить княжну в католическую веру, но и страстная любовь к княжне одного из них создают массу трудностей на пути возлюбленных. Однако сам князь Острожский на их стороне... Что из этого выходит, читатель узнает в конце романа – этой прекрасной песни любви и стойкости духа.

Владимир Близнюк

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Много было славных и могучих вельмож на Литовской Руси. Каждый горожанин, каждый бедный землепашец с великим почтением произносил имена князей Радзивиллов, Ходкевичей, Сапег, Воловичей, Олельковичей-Слуцких. Но имя князя Константина Константиновича Острожского возбуждало повсюду даже благоговение – все литвины, от Острога до Вильны, не иначе называли его как «великим князем».

Высок был род князей Острожских – они вели его от Владимира Святого; несметно было их богатство, обширны их владения на Волыни, Подолии, и во всем юго-западном крае. Но не одной славой предков, не миллионами червонцев, не вотчинными городами, местечками и деревнями сиял на всю Литву князь Константин Константинович. От своего родителя, знаменитого великого гетмана литовского, воеводы трокского и кастелана виленского, князя Константина Ивановича, он получил в наследие непоколебимую верность церкви православной и народности русской. Крепко и бодро отстаивал он святую веру и ее неприкосновенность, на которую со всех сторон поднимались козни вражеские. Тяжелое то было время: протестантство и арианство распространялись в крае, и церковь русская теряла немало своих членов; иноверное правительство польское если еще и не явно враждовало с нею, то, во всяком случае, равнодушно смотрело на ее бедствия и ничуть не заботилось о ее выгодах. Короли, основываясь на своем праве подаванья, жаловали монастыри православные в управление светским людям. Немало тяжб и свар заводили между собою и духовные лица.

А с запада надвигалась страшная, черная туча – в Риме уже давно зорко следили за Польшей и Литвою, давно уже решили испробовать самые яркие средства, чтобы окончательно укрепить шатавшуюся власть папы в Польше и подчинить той же власти и Литву православную. Сбирали дружину непобедимую для завоевания Востока, дружину, невидимые стрелы которой были насквозь пропитаны смертоносным ядом, дружину, созданную адскою силою и святотатственно носившую имя Иисуса...

В это-то трудное время приходилось жить и действовать князю Константину Константиновичу Острожскому. И он отдал всю свою жизнь на служение православию, на поддержание его и охранение. И все, что в Литве дорожило отцовской верой, примыкало к могучему князю, прибегало под его защиту, полагалось на него, как на оплот надежный.

Оттого-то его имя и было на устах каждого литвина и произносилось с благоговением.

Князь Константин имел свою резиденцию в наследственном городе Острог, построенном на берегу реки Гарыни. Здесь, на возвышенной местности, спускавшейся прямо к речному берегу, среди благоуханных садов и тенистой, вековой рощи, высился огромный княжеский замок – величественное произведение итальянского зодчества XV века.

У самого замка, сквозь кupy кудрявых деревьев, белелись главы замковой Богоявленской церкви, щедро изукрашенной благочестивыми владельцами и вмещавшей под своими тяжелыми сводами усыпальницу рода князей Острожских. За церквью начинался длинный ряд всевозможных более или менее обширных строений, отделенных друг от друга дворами, вымощенными каменными плитами – это были помещения для придворных, которых у князя Константина насчитывалось более двух тысяч человек. К задней стороне замка примыкали многочисленные службы.

Весь замок, с принадлежавшими к нему строениями, садами и значительной частью рощи, был обнесен высокой, крепкой стеною, делавшей из него превосходно защищенную крепость. Гарнизон и артиллерия замка были настолько значительны, что всегда могли отразить

сильное нападение. Иначе нельзя было и жить в то время, когда частная ссора между двумя вельможами давала повод ко вторжению одного из них во владения другого.

Если бы князь Константин почел нужным, он всегда мог бы собрать такое войско, с которым можно было бы идти на Краков. Ему принадлежало около трехсот городов и местечек, несколько тысяч деревень и несметное число слобод, хуторов и фольварков.

Кроме двух тысяч человек, преимущественно принадлежавших к дворянским и даже богатым и известным фамилиям, которые составляли его двор, многочисленная шляхта жила его милостями и готова была, по первому знаку, исполнять княжеские приказания.

За оградой замка начинался самый город Острог, раскинувшийся на несколько концов, довольно тесно застроенный деревянными жилищами, пересеченный улицами, мощеными деревом. Между городскими зданиями обращала на себя внимание школа, выстроенная князем Константином, а также его типография, которою заведывал бежавший из Москвы первый московский типограф Иван Федоров. В городе шла жизнь, имевшая мало общего с роскошной жизнью замка; тут ютилась небогатая шляхта, многочисленный класс горожан-ремесленников, и запуганные, но терпеливые евреи проделывали свои неизменные во все времена гешефты.

В то время, с которого начинается наш рассказ, т. е. в шестидесятых годах XVI столетия, князь Константин Константинович был еще далеко не стар. Он был женат на дочери Станислава Тарновского, кастелана краковского, и имел трех сыновей: Януша, Константина и Александра. Кроме того, в Остржском замке, под его родственной охраной, жила вдова его рано умершего брата, Ильи, княгиня Беата с единственной дочерью Еленой.

Звон колокольный разносился по улицам Острога. Всюду замечалось необычное движение. Народ в праздничных одеждах собирался кучками и направлялся к церкви Рождества Богородицы, где должно было происходить торжественное освящение только что отстроенного придела во имя св. равноапостольных Константина и Елены. Придел этот жители Острога соорудили на свои собственные средства и посвящали его святым патронам князя Острожского и его племянницы, в доказательство всеобщей любви и почтения к могучему, великому князю и прекрасной княжне Елене. Живо шла работа, чтобы поспеть к торжественному дню 21 мая. Епископ Арсений за неделю уже прибыл в город. Освящение должно было совершиться со всевозможным блеском. В замок со всех сторон съехались гости – там готовился целый ряд празднеств.

Утро задалось светлое, теплое, безоблачное. Праздничный шум города сливался с ликованием весенней природы, распутившейся во всей красоте своей и залившей Острог свежей, душистой зеленью фруктовых садов, густо разросшихся почти у каждого дома.

На улицах становилось все шумнее. Народ со всех концов стекался к церкви. По дороге к замку уже расположились пестрые ряды горожан, приготовившихся встречать княжеский поезд. В руках женщин и детей были букеты цветов и зелени.

Вся стенка замка была увешана разноцветными коврами и флагами. Ворота стояли настежь. Но поезд еще не показывался.

В это время по Заславской дороге в город въезжала блестящая кавалькада, состоявшая из девяти всадников. Лихие, на диво выхолненные кони сверкали легкой, золоченой сбруей, дорогами седлами и яркими шелковыми кистями. Впереди, на вороном, лоснившемся и нервно вздрагивавшем жеребце, красовался статный молодой человек, богатый наряд которого показывал литовского вельможу, еще не успевшего или не хотевшего перенять западные моды, царившие в Кракове, при дворе Сигизмунда-Августа.

За ним следовали почти в таких же одеждах, как и он, розовый, красивый юноша лет семнадцати и два человека средних лет, из которых один отличался значительной толщиной и замечательно длинными усами. Далее, в некотором расстоянии, ехали пять служителей.

Молодой человек обернулся и остановил светлые большие глаза на красном, жирном лице своего толстого спутника.

– Эх-ма, Иван Петрович, – сказал он улыбаясь, – вижу твое лютое мучение и чует мое сердце, что ты проклятию предаешь меня чуть ли не с самых Сорочей.

– Не то, князь! – отвечал Иван Петрович густым басом; – мне что? – толст, толст, да не такие концы могу еще отхватывать, а вот что не дело, так не дело. Ну где ж это видано, чтобы на такой праздник, да еще и на освящение, выезжать до восхода солнечного и гнать, словно за нами вражья сила, когда все к князю Константину за день, да за два съезжаются. Мало что ль хором у него понастроено...

– Так тебе небось хотелось, чтоб я так, не дождавшись зову, и поехал. Когда гонец-то от князя прискакал? Вчера к вечеру – ну, я и еду. А не прислал бы гонца, так и не поехал бы.

– И дело, – вмешался в разговор другой всадник, – так и князь, родитель твой покойный, вашей милости перед смертью наказывал: крепко держись, никому не позволяй себе наступать на ногу; будь близок к князю Острожскому, но и от него требуй себе почтения – Сангуши не хуже Радзивиллов да Острожских. Как покойника отца твоего князь Константин всегда звать почетного гонца посылал, так и к сыну его и наследнику посылать должен.

– Так-то оно так, – согласился Иван Петрович, – да уж больно жарко ноне, а в церкви небось почитай что до полдня выстоять придется.

Розовый юноша, давно уже насладившийся комическим положением, в которое толщина ставила Ивана Петровича, не выдержал и рассмеялся.

Улыбнулся и князь.

– А тебя, пострел Федька, и брать вовсе не следовало, – пробасил толстяк, притворяясь рассерженным. – И чего это ты, ваша милость, разбаловал так мальчишку! – обратился он к князю.

– Не ворчи, старый, – успокаивал его князь, – ведь сам ты, небось, после того как Федя вытащил меня совсем бесчувственного из Сорочского озера, назвал его моим храбрым оруженосцем – так оруженосец-то всюду должен следовать за своим рыцарем, не баловства ради, а охраны.

– Ишь ты, хранильщик выискался! – не унимался Иван Петрович; – а поди, приключись что, напади на дороге лихой человек, так Федюша первый, как баба, со страху разрюмится.

Но такого обидного предположения юноша снести уже никак не мог. Он даже побледнел и гневно сверкнул глазами на обидчика.

– У меня только и дума одна, – задыхаясь от волнения начал он, – как бы по-настоящему, не из-под опрокинувшейся лодки, а от мечей вражеских защитить и спасти моего князя и самому умереть за него... Да и не знаю я, кто из нас двух, я или Иван Петрович Галынской с перепугу захнычет...

– Молчи, щенок! – крикнул толстяк, сердясь уже не на шутку.

– Никак вы и взаправду свару затеяли, – оглянулся князь с недовольным видом, – нашли время!.. Слышите?..

Гул радостного народного крика раздался близко за поворотом улицы. Иван Петрович и Федя замолчали, только злобно взглянули друг на друга.

Всадники дали шпоры коням и красивым галопом, звеня оружием, поскакали вперед. Через две минуты они были среди толпы народа, при повороте на довольно широкую улицу, зеленевшую далеко раскиданной свежей травой.

Народ радостно кричал, подбрасывая кверху шапки. Слева гудел торжественный благовест. Справа, с пригорка, на котором возвышался замок, медленно двигался блестящий княжеский поезд.

Лицо князя Сангушки мгновенно преобразилось. Румянец залил его щеки. Глаза, широко открытые, сиявшие блаженным выражением, остановились не мигая на одной далекой

точке. Грудь дышала порывисто, и рука нервно и бессознательно сжимала рукоятку осыпанной дорогими камнями отцовской сабли.

Не великолепие поезда поразило молодого князя – это был далеко еще не полный парадный поезд Острожского, иногда выезжавшего из города в сопровождении тысячи провожатых. Сангушко даже и не замечал поезда. Он не видел, как мимо него проскакали передовые гайдуки, как проехал маршал двора Острожского, сверкая на солнце своим золотом шитым костюмом. Он не видел толпы красивых пажей и шляхетской молодежи, среди которой, в сопровождении почетнейших гостей, подвигался князь Константин Константинович на белом, словно серебряном коне. Он не слышал восторженного крика, которым народ приветствовал своего князя.

Он глядел не отрываясь, все с тем же блаженным выражением в глазах... и ближе, ближе становилось то, на что глядел он, и сердце его замирало невольно, и туманилась голова его... За князем Константином медленно подвигалась запряженная шестериком золоченая, обитая драгоценной парчею, колымага. В ней помещалась княгиня, супруга князя Константина, женщина лет сорока, с красивым, необыкновенно добродушным и ласковым лицом, а рядом с нею сидела молоденькая девушка.

Восторженные крики народа возобновились. Женщины и дети бросали свои букеты сирени и других душистых цветов. Взгляды всех были обращены на молодую девушку. «Княжна наша! Красавица Гальшка! День красный! Солнышко небесное!» – раздавалось кругом с восторгом и благоговением.

И этот восторг, и это благоговение народа были совершенно понятны. Княжна Елена Ильинишна Острожская (или Гальшка, как ее все называли) была необыкновенная, неслыханная красавица. Такая красота родится веками, приобретает себе славу, подобно гению, и память о ней сохраняется в потомстве. Такая красота – высочайший дар природы – может служить поводом и причиной великих и часто кровавых событий.

Только вдохновенному художнику мог пригрезиться этот образ, совершенное воплощение которого было теперь перед народной толпою и выделялось на блестящем фоне парчевых подушек, как бы окруженное золотым сиянием.

Княжне Гальшке только что исполнилось семнадцать лет; но вот уже три года, как по всей Литве и даже Польше разносилась весть о чудной красоте ее. Немало людей, разумеется, людей молодых и вольных, нарочно приезжало в Острог, чтобы только взглянуть на нее и потом говорить: «я видел красавицу Гальшку». Какое же описание может дать понятие об ее прелести, равно возбуждавшей восторг и в мужчинах и в женщинах, и даже в детях, радостно бросавших цветы ей навстречу. Если бы закутать ей голову густым покрывалом, то всякий, взглянув на эту легкую, грациозную фигуру, на эти стройные, строго пропорциональные, словно из мрамора выточенные члены, не мог бы усомниться, что это тело принадлежит безупречной красавице. И точно, здесь нельзя было ошибиться – ее небольшая головка, отягченная ниже колен спадавшими, бледно золотистыми и мягкими как шелк косами, заставила бы даже закоренелого злодея выронить нож и отступить в смущении и восторге. Большие, черные, с длинными ресницами глаза казались еще прекраснее при светлых волосах и необычайно нежном цвете лица. Благородный и строгий профиль смягчался выражением, которое поражало ясностью душевной чистоты и очевидной, на все обращавшейся добротой. Но в то же время в этом лице было что-то, какая-то неуловимая черта, обличавшая присутствие мысли и воли, а по временам на нем мелькало отражение не то грусти, не то серьезной задумчивости. Одним словом, поэты того времени говорили про нее, что это была красота, гармонически слившая в себе и божественную прелесть мадонны, и земную обольстительную прелесть классической богини.

Княжна Гальшка на шумные приветствия народа отвечала ласковыми, добрыми улыбками, стыдилась возбуждаемого ею восторга, и порою смущенно взглядывала на тетку, будто

желая за нею спрятаться и прося прощения в том, что она невольно обращает на себя одну всеобщее внимание. Но добрая княгиня и сама, очевидно, гордилась племянницей.

Князь Сангушко едва сдерживал свое волнение и глядел на Гальшку не отрываясь, как очарованный. Он видал ее и прежде, он помнил ее еще ребенком; в последнее время ее образ преследовал его всюду и даже не померк от глубокой, мучительной горести, в которую повергла молодого человека смерть его отца, горячо им любимого. Но никогда еще Гальшка не казалась ему так бесконечно прекрасной. И он почувствовал, в первый раз почувствовал совершенно определенно и ясно, что эта чудная красавица, которой все любят и которую все прославляют, для него гораздо больше, чем красавица; что она дорога ему, что он любит ее, любит больше всего на свете...

Ласковая улыбка не сходила с уст Гальшки; но глаза ее были скромно полуопущены перед восхищенной толпой. Она подняла их на мгновение и ее взгляд встретился со взглядом Сангушки. Что-то быстрое, не то изумление, не то радость, мелькнуло в этих глубоких глазах. Ее щеки колыхнули румянцем... Золоченая колымага прокатилась мимо.

Сангушко тронул поводья и шагом поехал за нею, не веря себе, сомневаясь и боязливо поддаваясь новой надежде. Он обернулся. Среди бесчисленных, окружавших его лиц, его взгляд упал на пораженное, восторженное молодое лицо Феди, который растерянно глядел кругом и ничего не видел перед собою.

– Федя! – крикнул князь.

Юноша вздрогнул, очнулся и молча поехал за ним, смотря по тому же направлению, куда обращались взоры всего народа и горячие взоры князя.

II

Князь Константин Константинович Острожский, как мы уже сказали, был одним из надежнейших оплотов православия. Его деятельность в этом направлении была неумолима; но и он уже с ужасом начинал видеть, что вся его энергия, все его силы далеко недостаточны для ведения успешной борьбы с разнородными и могучими врагами.

Хотя в XVI веке православие было в Литве господствующей народной религией, но огромная масса народа только по имени могла считаться христианами. Не только в глубине страны, но и в деревнях, находившихся вблизи городов и соприкасавшихся с городской жизнью, царили совершенно языческие понятия и верования, которые в течение долгих веков оставались неискорененными. Православных церквей было много; но сельское духовенство не имело решительно никакого влияния на свою паству. Идолы и языческие празднества оставались нетронутыми – им только даны были христианские наименования. Так, например, видя в церкви вербу с повешенной на ней иконой, парод поклонялся и вербе и иконе, воображая, что богиня Блинда была превращена в дерево, и именно в вербу. К христианским праздникам применялись все прежние языческие обряды, отчасти сохранившиеся и до сих пор, но в то время имевшие в глазах народа чисто религиозное значение. Праздник Рождества слился с праздником коляды, Новый Год с языческим щедрым вечером, Крещение сопровождалось всевозможными обрядами, остатками культа Святовиту. Христова Пасха была не что иное, как празднество волочинья. Георгиев день справлялся веселыми играми, песнями и плясками; в Троицын день завивались венки; в день Рождества Иоанна Предтечи скакали через огонь; в день Петра и Павла строились качели. Но этого мало: в иных местах на Троицу, после крестного хода, собравшийся в огромном количестве народ всю ночь завивал венки, бросал их в воду и сопровождал эти обряды невероятными бесчинствами и бесстыдством.

Солнце и луна, подземные божества, называвшиеся Баструками, и их владыко Пушайтис почитались по-прежнему. Им народ молился, чтобы они смягчали сердце жестоких господ. Окончание жатвы, дожинки праздновались по-язычески. Осенью, по окончании полевых работ, на большой стол клали сено, потом постилали его чистой скатертью, ставили на стол бочку пива и затем вводили быка или корову, назначенных в жертву богу оплодотворения. Все присутствовавшие яростно бросались с дреколием и оружием на несчастное животное и убивали его до смерти, припевая: «вот тебе жертва наша, о бог земли. Слава тебе за сохранение жизни нашей в прошлом году, защити нас и в наступающем от врага, огня, меча, морового поветрия!» Мясо убитого животного тут же жарилось и съедалось.

Но не с одними остатками язычества приходилось бороться князю Острожскому и прочим ревнителям православия. С некоторого времени в высшие сословия, а затем и в народ начинали все больше и больше проникать новые учения, идущие с запада Европы. Соперником князю Константину по влиянию и могуществу был Николай Радзивилл Черный, канцлер великого княжества Литовского, двоюродный брат королевы Варвары и один из ближайших и влиятельнейших советников Сигизмунда-Августа. Радзивилл Черный принял евангелическо-реформатское исповедание и всеми мерами начал распространять его по государству. Он основал кирки в Вильне, Келецке, Несвиже, Орше, Минске, Бресте и во многих других городах, число которых простиралось до ста шестидесяти. Он выписывал известнейших в то время проповедников, и они разъезжали всюду и учили народ. Он устроил типографии и в большом количестве печатал духовные книги. Все, что нуждалось в покровительстве могучего Радзивилла, получало это покровительство с условием отступить от православия или католичества и принять реформатство. Радзивиллу содействовали и другие вельможи: Сапеги, Ходкевичи, Кишки, Вишневецкие, Пацы, Войны и т. д. Король оставался совершенно равнодушным к

этому движению и будто не замечал падения литовского православия и польского католичества.

Князь Константин Острожский видел, как с каждым годом отрывались от церкви надежнейшие сыны ее, как русско-литовские вельможи уходили в стан вражеский. Его покидали лучшие друзья и советники, он оставался почти один во главе православия – а между тем годы шли и убавляли в нем его крепкие силы, энергии кипучей деятельности. Внимательно глядя кругом себя, он с ужасом убеждался, что нет ему верного друга и помощника, что умри он сегодня – и с ним вместе умрет, пожалуй, и великое дело, которому и отец его, и он сам посвятили всю жизнь. Ревностных православных людей было еще немало, но все они были бессильны, не имели того влияния и тех огромных материальных средств, какие требовались в таких обстоятельствах.

Только в родном своем Остроге он, по крайней мере, видел себя в среде своих; здесь все вокруг него дышало православием и благочестием. С нескрываемой радостью встретил он весть о решенной городом постройке нового придела во имя св. Константина и Елены – ему были дороги и ревность горожан к вере, и преданность ему самому и его любимой племяннице.

Давно уже не видали князя с таким радостным лицом, как во время освящения придела. Окруженный блестящей толпой, стоя у клироса на небольшом возвышении, обитом малиновым бархатом, он внимательно следил за торжественной службой и часто клал земные поклоны. Одет он был роскошно, в светлом атласном кафтане с блестящею драгоценными камнями цепью на шее – но эта роскошь одежды не была плодом его собственной заботливости: он так оделся, потому что так одел его приставленный к его гардеробу шляхтич. Если бы ему принесли старое платье, он надел бы и его и никогда не заметил бы этого – он никакого внимания не обращал на свою внешность.

Но его фигура, его лицо были такого рода, что как бы он ни одевался, его нельзя было смешать с толпой. Он был довольно высокого роста и полон. Вокруг большого, прекрасной формы лба поредели и поседели мягкие волосы, длинная борода еще больше блестела сединою; но в открытых голубых глазах, в свежем цвете лица и улыбке было много еще жизни, силы и здоровья. В счастливые минуты внутреннего довольства лицо князя поражало откровенной добротой и необыкновенной привлекательностью. В минуты гнева оно бывало грозно, и вряд ли можно было найти человека, который бы не побледнел, встретясь тогда с его блестящим взглядом.

Все близкие люди, знавшие характер князя, не могли не уважать его; но к этому уважению непременно примешивалась большая доля страха. Все знали, что только с чистой совестью и с разумным словом на устах можно было смело приближаться к князю, что от него можно было ждать справедливости, но ни в каком случае потачки. Он уважал всякую силу; но разжалобить его слабостью – было очень трудно. Строгий к себе, неуклонно прошедший школу нравственного самоулучшения, он считал себя вправе быть строгим к другим, и со стороны его строгость могла даже иногда показаться жестокостью. К тому же деятельная жизнь, посвященная всецело святой и великой для него цели, жизнь, сопряженная со многими огорчениями и даже ударами, развила в нем некоторую желчность, раздражительность, делавшую его характер иной раз тяжелым. Но кто знал его трудно разнеживающимся, но растроганным, тот охотно прощал ему привычную суровость, Строгая его неподкупность, самостоятельность и справедливость в делах политических и общественных признавались даже злейшими его врагами...

Богослужение кончилось. Епископ Арсений, маленький, бледный старичок, совершенно непричастный к интригам и буйствам тогдашнего высшего духовенства, едва держался на ногах под тяжестью массивного парчевого одеяния и тихо шептал последние молитвы. Князь Константин, набожно приложившись к кресту и поцеловав руку владыке, выходил на паперть, принимая поздравления окружавших.

На паперти стояли в ряд бурмистры, рядцы, лавники¹ и прочие почетные горожане. Они громко и радостно встретили князя, который благодарил их, милостиво наклоняя голову. Затем он обратился к толпе народа.

– Други мои, – громко сказал он, – спаси вас Бог за ваше радение к сему святому храму, ныне украшенному и расширенному вашими щедротами. Благодарствую от сердца и за чувства ваши ко мне и к роду моему...

Громкие крики народа не дали ему покончить. Снова шапки полетели в воздух, и немногие успели расслышать, как князь приглашал всех горожан к себе в замок, где на обширных дворах, под навесами, была с утра приготовлена, по обычаю, обильная трапеза.

Оглянувшись, князь Константин заметил пробиравшегося к нему сквозь тесную толпу молодого Сангушко. Он обнял его и троекратно с ним поцеловался, отвечая на его поздравления.

– Горд ты стал, горд, князь Дмитрии Андреевич, – заговорил он, улыбаясь. – Думал, сам обо мне вспомнишь, да заглянешь – ан ты зову ноне стал дожидаться... Ну, да Бог с тобой – вишь какой вырос – мне и спорить с тобой не приходится; не забудь только, что ты всегда мой гость желанный.

И он снова его обнял.

А Сангушко и не пытался отвечать князю, он мимо ушей пропустил его несколько насмешливо произнесенную фразу: «вишь, какой вырос...» Он сам теперь не мог понять, зачем дожидался гонца княжеского, как мог он, из каких бы то ни было соображений, пропустить два дня, два дня жизни под одной кровлей с Еленой... Он увидел ее в толпе, рядом с княгиней, окруженную блестящей молодежью.

Он подошел к ним и снова ему показалось, как будто внезапная краска вспыхнула на щеках красавицы.

Им овладело какое-то опьянение и в этом опьянении было столько никогда еще не изведанного им счастья, что он поддался ему всею душою. Он не знал, что такое он говорит княгине, и что она ему отвечает. Он видел только глубокий и смущенный взгляд Елены, слышал, как она ему говорила:

– А мы уже, князь, не чаяли тебя видеть – думали ты в Кракове, а то, пожалуй, и в Немцы уехал...

В тоне слов этих слышался такого рода упрек, который мог бы возбудить великую зависть в окружавшей толпе молодых людей; но княжна произнесла свою фразу так тихо, что расслышал ее только один Сангушко.

Князь Константин уже садился на коня. Росписная (так в книге – Д.Т.) колымага подъезжала к церкви. Толпа расступилась. Нарядная прислуга и многие гости бросились помогать княгине садиться в экипаж. Некоторые молодые люди воспользовались этим случаем, чтобы иметь возможность хоть слегка прикоснуться к платью красавицы.

Гальшка, сядя в колымагу, снова невольно взглянула на Сангушко. На этот раз ее взгляд не был замечен никем, даже самим князем Дмитрием Андреевичем. Подметил его только один человек, все время прятавшийся в толпе, но тщательно наблюдавший за княжною. Человек этот поражал своим видом и резко отличался от всего собравшегося люда. Он был далеко еще не стар и высок, и очень худ. Рост его выступал еще больше от длинного, черного, полумонашеского одеяния, на которое неприязненно косились проходившие мимо него горожане. Лицо этого странного человека соответствовало его фигуре: сухое и бледное, с правильными резкими чертами, черные почти сросшиеся брови, глубокие впалые глаза, с тяжелым, слишком внимательным взглядом – это было какое-то фатальное лицо, нечаянно взглянув на которое,

¹ Выборные городские должности

можно было испугаться... А между тем оно было красиво, и в нем отражались деятельная мысль и сильная воля.

Княжеский поезд с маршалом во главе и в строгом порядке медленно подвигался по усыпанной травой и цветами улице. Народ снова приветствовал его криками и стремился за ним к широко растворенным воротам замка. Вокруг церкви пустело.

Черная фигура странного человека свернула в переулок и по другой, совершенно пустынной улице тоже направилась к замку.

Становилось душно; солнце жгло с высоты безоблачного неба. Через изгороди садов свешивались на улицу густые ветки белой акации, сирени и фруктовых деревьев, все усыпанные сильным, душистым цветом. Ворота маленьких деревянных домиков стояли на запоре. Была полная тишина и безлюдие. А Черная фигура медленно подвигалась по деревянным мосткам, настланным с обеих сторон улицы.

Вот из-под одной подворотни выглянула длинная морда собаки. Послышалось рычание и затем оглушительный лай. Где-то вблизи ему завторил другой лай, еще пронзительнее. Хлопнула калитка, на улицу выбежали белоголовые ребяташки, увидели черную фигуру...

– У-у-у! Черт идет, черт! – закричали они и спрятались в калитку.

Отворилась ставня, выглянул седой старик и сжатым кулаком энергично погрозил прохожему.

Черный человек равнодушно посмотрел на старика, на угрожавший кулак. Ни одна черта не дрогнула в лице его. Он продолжал идти всем тем же мирным, спокойным шагом, погруженный в свои мысли.

Скоро он скрылся за поворотом к замку.

III

Мы видели княжну Гальшку вдвоем с теткой, супругой князя Константина, ее же родной матери, княгини Беаты Острожской, не было в торжественном поезде, не было и в церкви, во время освящения придела. Такое отсутствие княгини могло бы сразу показаться странным и предосудительным непосвященному человеку и непременно должно было возбудить толки и пересуды в толпе собравшегося народа. А между тем никто не удивлялся, никто не спрашивал о княгине Беате. Народ уже давно привык к ее постоянному отсутствию на всех религиозных торжествах, на всех церковных праздниках. Про нее знали, что она живет в замке, что она полька и католичка, что у нее есть своя домовая каплица и свой духовник.

Все это, взятое вместе, а также ее нелюбимость и неприветливость, не могли снискать ей любви народной. Если ее не порицали и не бранили открыто, то единственно вследствие уважения к имени князей Острожских, которое она носила.

В то время, о котором мы говорим, нравы литовской аристократии были в большом упадке. По достоверным свидетельствам современников можно представить себе весьма непривлекательную картину. Стремление к роскоши делалось всеобщим. Литовские женщины высших слоев общества мотали деньги так, что мужчины могли жениться только с большим приданым. Многим девушкам из хороших домов трудно было поэтому найти приличную партию, и они должны были или оставаться старыми девами, или вступать в предосудительные браки. Литовская женщина по законам имела многие права и пользовалась большою независимостью, но недостаток серьезного воспитания развил в ней полное отсутствие самоуважения – она стремилась только к роскоши и неприличному кокетству.

Немудрено после этого, что благоразумные отцы семейств предпочитали выбирать для своих сыновей жен в Польше, где женщины были гораздо образованнее и высоко ценили родовую честь. Так поступил и покойный князь Константин Иванович Острожский – он женил своего сына Илью на польке, Беате Косцелецкой, дочери подскарбия коронного. Беата была красива, богата и имела большие связи в Кракове. Она была верной и преданной женою князю Илье, но рано овдовела, с тех пор близкие люди стали замечать в ней большую перемену.

Строго воспитанная в правилах католической веры, она и выйдя замуж осталась ревностной католичкой. Муж и его отец предоставляли ей в этом отношении полную свободу и никогда даже не заводили с ней религиозных споров. Она привезла с собой в замок Острожских старика духовника, человека весьма почтенного и сдержанного, имевшего на нее большое влияние, но никогда им не злоупотреблявшего. Княгиня Беата немало часов проводила с ним в религиозных беседах, после которых муж заставлял ее иногда в восторженном настроении, со слезами на глазах. Но эта восторженность скоро проходила и молодая княгиня являлась в общество с любезной, веселой улыбкой, довольная своей молодостью, красотой и блестящим положением, далекая от всякого религиозного фанатизма. Родилась дочь – в княгине Беате вспыхнули материнские инстинкты, и все свободное от удовольствий время она стала посвящать ребенку. Девочка росла и уже с первых лет стала всех поражать своей необыкновенной красотой. Княгиня отовсюду слышала ей похвалы самые восторженные и не могла сомневаться в их искренности. Ее Гальшка сделалась ее гордостью и радостью – она не могла на нее налюбоваться.

В это время от какой-то скоротечной и неизвестной тогдашней медицине болезни умер князь Илья. Эта неожиданная утрата совершенно сразила Беату. Первое время она казалась помешанной. Она заперлась от всех, ушла в себя и месяца три выносила присутствие только одного духовника. Даже к дочери почти охладела. Строгий пост, молитва на могиле мужа, чтение духовных книг – вот в чем стала проходить жизнь ее, изо дня в день, без всяких отступлений. Напрасно многочисленная родня, искренно ее любившая, старалась привести ее в себя, убедить, что, несмотря на всю великость ее горя, жизнь еще не может потерять в глазах ее

всякое значение, что ей рано еще совершенно отказываться от общества, что у нее, наконец, есть дочь, которая должна примирить ее с жизнью.

Все добрые советы, все убеждения, пропадали даром. Княгиня молча, внимательно выслушивала все, что ей говорили, но, взглянув на нее, можно было сразу заметить, что она думает о чем-то постороннем, своем, что вразумить ее нет возможности. Только при имени дочери она несколько оживлялась; но оживление это было минутное и скоро переходило в обычную апатию и замкнутость.

За несколько недель до первой годовщины смерти мужа, она съездила с духовником своим в Краков. Она пробыла там недолго, не показывалась при дворе и все время провела окруженная католическим духовенством. Она вернулась в Острог сильно возбужденная и оживленная. Во всей ее фигуре, в ее движениях замечалась явная перемена – прежней апатии не было и следа. Родные обрадовались сначала, думая, что поездка развлекла ее, что теперь она снова заживет своей прежней, естественной жизнью.

Но скоро все поняли, что ошиблись: княгиня Беата, несмотря на оживленность и признаки нравственной энергии, осталась по-прежнему равнодушной к интересам, ее окружавшим. Она была снова одна, только уж не погруженная в прежнюю тоску и задумчивость, а охваченная какою-то новой, таинственной деятельностью, которая первое время держалась в тайне от обитателей замка. Старый духовник остался в Кракове, а на место его явился новый ксендз, державший себя со всеми особенно предупредительно и льстиво. Он постоянно куда-то уезжал и возвращался, привозил княгине Беате какие-то письма, которые она жадно читала и прятала в свою заветную шкатулку вместе со всеми своими драгоценностями.

Что же все это значило? Значило это, что княгиня, действительно, сумела найти примирение с жизнью, найти дело, которому она отдалась порывисто и страстно. Дело это было – религиозная пропаганда. Католические патеры в те времена, как и теперь, любили действовать через женщин и всегда имели в них верных учениц, помощниц и благодетельниц.

Мудрый сонм краковских отцов в короткое время совершенно забрал в руки княгиню Беату. Она поклялась посвятить всю жизнь свою делам веры и помогать духовенству своими посильными приношениями. В первый же год она переслала в Краков, при посредстве нового духовника, весьма значительные суммы денег. Взамен их она получала благодарственные письма святых отцов, где ее провозглашали достойнейшей дочерью церкви. Эти красноречивые, пропитанные тонкою лестью письма составляли ее отраду и гордость. Ей обещали, что ее добрые дела скоро сделаются известными папе, что она получит и его благодарность. Она удвоила рвение и с радостью жертвовала ловким патерам гораздо больше половины всех своих доходов.

Поглощенная и затуманенная своей новой деятельностью, Беата уже не находила времени заниматься подраставшей дочерью. Вся ее прежняя любовь к ней как-то расплылась в охватившем ее фанатизме. Иногда она забывала ее по целым дням. Князь Константин Константинович и его жена до глубины души возмущались этим. Они не раз пробовали убедить, усювестить Беату.

– Я люблю ее гораздо больше, нежели вы все думаете, – во время одного из таких объяснений сказала княгиня Константину Константиновичу. – Я много забочусь о ее будущем, о ее счастии, но разве я виновата, что у меня руки связаны, что я хоть и мать, да не мать ей...

– Что это значит? – спросил князь. – Неужели ты хочешь упрекнуть меня или жену в том, что мы становимся между тобой и Гальшкой?..

– Я ни в чем не хочу упрекать вас, но скажи по совести, разве она не больше принадлежит вам, нежели мне? Разве ты не опекун ее, разве не в твоих руках ее состояние, разве, наконец, моя дочь не чужда мне по вере, в которой вы ее воспитываете?

– Но ведь ты все это хорошо знала, когда выходила за брата. Ты знала, что дети Ильи Острожского не могут быть католиками. Ты торжественно клялась покойному отцу и брату никогда не заводить и речи об этом.

– Да, клялась! – отчаянно проговорила княгиня, – клялась; но сама не знала, что делала, не знала какой грех, какое мучение брала на свою душу... Вы заставили меня отступиться от моего собственного ребенка... Это ужасно!

Князь уже давно ожидал подобных упреков, хотя Беата до сих пор и была очень сдержанна. Он давно уже предвидел, что трудно ему будет обойтись без семейной драмы, подготовленной католическими патерами. Ему приходилось отстаивать православие уже не в одной Литве, а и в стенах собственного дома, приходилось начинать тяжелую, раздражающую борьбу с фанатизмом женщины, которую он, не без основания, иногда готов был считать помешанной...

Его лицо вспыхнуло, глаза блеснули недобрым блеском.

– Никто тебя не заставлял и не заставляет отступаться от Гальшки, – гневно сказал он. – Никто не заступает тебе дорогу к ее сердцу; если тебе мало ее любви, если ты хочешь стать между ею и Богом, насильно навязывать ей свою веру, то уж лучше тебе уехать отсюда. Я выдам все, что тебе завешано братом, но Гальшки тебе не выдам.

– Как! – поднялась Беата, бледная и дрожащая. – Ты хочешь отнять у меня дочь, ты хочешь меня выгнать из дому?! Или ты думаешь, что на тебя нет и закона, что король потерпит такое беззаконие?..

Князь Константин едва себя сдерживал. Он побагровел от гнева.

– Я не боюсь твоего короля! – задыхаясь, проговорил он. – Ты знаешь, что до сих пор я тебе был добрым братом, но я был братом и твоему мужу – я не отдам его дочь на съедение твоим патерам, которые лишили тебя и рассудка, и сердца...

И он вышел своими тяжелыми шагами от княгини.

Беата бессильно опустила в кресло и залилась слезами.

Она еще недавно получила из Кракова письмо от епископа, в котором он убеждал ее в необходимости вырвать, дочь из «челюстей схизмы». Верные слуги католической церкви давно уже всецело подчинили ее своему влиянию. Она жила их мыслями. Но рядом с этим в ней оставалось нетронутым уважение к князю Константину, какой-то благоговейный страх: перед ним. Борьба с ним представлялась ей невозможной.

Она велела позвать своего духовника и излила ему душу. На другой день он ехал в Краков за инструкциями.

Пройдя к себе и несколько успокоившись, князь Константин задумался о Гальшке. Ей уже был шестнадцатый год на исходе. Из прелестного ребенка она превратилась в удивительную, неслыханную красавицу, в девушку кроткую и благочестивую. Князь души не чаял в племяннице. Да и мог ли он не любить ее! У него было трое сыновей, старшему из которых только что исполнилось 12 лет. У него была и единственная, любимая дочь, сверстница и подруга Гальшки. Но дочь эта умерла три года тому назад, и с тех пор вся его нежность к ней перенеслась на Гальшку.

Молодая княжна и сама горячо любила дядю. Никто, как она, не умел ему прислуживать, никто не умел так разглаживать маленькой и нежной рукой морщины гнева и печали, выступавшие на лбу его. Она одна из окружавших не боялась его в страшные его минуты. Она одна смело входила к нему в те часы, когда все трусливо обегали его покои.

Он любил тихо и ласково беседовать с ней в свободное время. Иногда по вечерам он собирал жену и детей, а Гальшка отстегивала золотые застёжки большой тяжелой книги и своим звонким голосом читала им житие какого-нибудь святого или главу из Евангелия. Князь Константин по временам прерывал чтение и объяснял ей то, что, как ему казалось, было неясно ее пониманию.

И эту-то добрую и ласковую, ангельски прекрасную дочку-племянницу желают отнять и у него и у церкви, желают сделать полькой, католичкой! Невозможно допустить до этого, нужно еще больше следить за нею, оберегать ее от вредных влияний – а следить и наблюдать совсем некогда: большие дела на руках, кипучая, непрерывная деятельность. Все чаще и чаще приходилось князю отлучаться из Острога, дела звали его то в Краков, то в глубину Литвы, то в резиденции других магнатов литовских.

Правда, без него оставалась жена... она добра, она сама без души любит Гальшку; но князь Константин невольно должен был сознаться, что его добрая, верная княгиня Анна Станиславовна плохой дипломат и руководитель. Ее обмануть и одурачить ничего не стоит – на это хватит самого неопытного католического монаха.

Выдать бы поскорее Гальшку замуж, приискать ей жениха хорошего и надежного, из доброй и вельможной семьи православной. Но на ком остановиться? Где теперь в это смутное, шаткое время надежные люди? Что за мелкое, жалкое племя народилось у стариков литовских! За отличие при дворе продают и родину и веру. Забыли стародавние, дедовские нравы и обычаи – а ими то – крепко, несокрушимо стояла Литва родимая. Передразнивают поляков да немцев, перенимают их непутные, разорительные моды... Стыдно сказать – малый лет в двадцать с чем-нибудь уже побывал в разных чужих странах, всего навиделся, все ему опротивело, а пуще всего опротивели родные леса литовские. Так его и тянет из дому, все в Краков, да в Краков, за чужими женами польскими волочиться, да своих же литвинок очумевших вводить в грех и беспутство. Совесть забыли, Бога забыли, родину губят...

Есть один человек на примете Князь Константин давно в него всматривался. И роду знаменитого, и сын друга-товарища, и крестником приходится. Воспитан строго, в вере и благочестии, собою молодец и умом не обижен – мог бы и для дела святого пригодиться князь Дмитрий Сангушко, можно было бы положиться на такого племянника, пока свои дети не вырастут. Да кто его знает – как еще покажется он самой Гальшке. А неволить Гальшку и настаивать в таком деле князь Константин не решился бы ни за что на свете.

Приходилось ждать да положиться на милость Божию. Князь только стал почаще беседовать с Гальшкой об истинах православной веры и старался возбуждать в ней патриотические чувства...

Между тем, краковское духовенство не дремало. По поводу княгини Беаты списались с Римом. Там приняли в этом деле живое участие, заинтересовали княгиней Острожской даже папу Пия V. Он послал ей в духовники итальянца – монаха. Этот монах принадлежал к ордену иезуитов, сильно покровительствуемому(так в книге – Д.Т.) папой. Звали его Антонио Чеккино. Ему даны были важные инструкции и полномочия.

Княгиня Беата встретила его как посланника неба; он сразу успокоил ее взволнованную душу, и не прошло и месяца, как забрал ее всю, со всеми ее помыслами и чувствами, в свои руки. Явившись в Острог, отец Антонио сделал все, чтобы произвести выгодное для себя впечатление в его обитателях – он обошел не одну Беату, он обошел всех, но не мог обойти князя Константина. Князь сразу почуял в нем врага ловкого и хитрого. Между тем, не было достаточной, законной причины для его удаления из замка. Так прошло три года.

IV

Княгиня Беата сидела одна в роскошно убранном покое. Палящее солнце притупляло лучи свои о причудливые итальянские витрины высоких окон. В комнате было прохладно, и массивное, в духе того времени, ее убранство казалось еще внушительнее в мягком полумраке. Княгиня только что вышла из своей молельни и старалась предаться религиозным размышлениям. Но чувства ее были взволнованы, она не могла спокойно мыслить о Боге, не могла победить себе раздражения. Ее утро началось дурно. Она имела неприятное объяснение и не послушалась своего руководителя – отца Антонио.

Он всегда убеждал княгиню сохранять хорошие отношения со всеми в замке, а в особенности быть почтительной и предупредительной с князем Константином. Он настоятельно советовал ей никогда не вступать в религиозные споры, никогда не хулить православной веры, посещать церковь вместе с семейством Острожских. Но послушная и безгласная во всем остальном, в этом пункте княгиня Беата не могла совладать с собою. В ее характере была врожденная искренность, при которой ей трудно было идти окольными путями, лгать и притворяться. Ее религия, доводившая ее до фанатизма, была для нее так высока, что она считала унижительным входить с православием в какие бы то ни было компромиссы. Отцу Антонио было еще трудно убедить ее в учении, что цель оправдывает средства.

Прежде, несколько лет тому назад, Беата была равнодушна к «схизме». Она охотно посещала русскую церковь и молилась в ней по своему молитвеннику. Разговоры «от св. писания» князя Константина не волновали ее и не возбуждали в ней злобы. Но с тех пор, как она поставила целью своей жизни католическую пропаганду, с тех пор, как она отдалась в руки духовенства и в изобилии стала принимать духовную пищу, посылаемую ей краковскими отцами, ее взгляд на православие совсем изменился. Теперь оно было для нее даже не просто чужая вера, а нечто ненавистное, крайне враждебное, столкновение с чем приводило ее в ужас. Она стала горячо ненавидеть русскую церковь, русские обряды, русское духовенство, всех православных людей. Но пуще всех она возненавидела князя Константина. Она еще продолжала его бояться, она еще не решилась разорвать с ним, еще исполняла клятву, данную ею мужу на смертном одре его, то есть жила в Острожском замке, под охраной князя. Но кроме чисто внешнего исполнения этой клятвы от нее ничего уже нельзя было требовать.

Она все реже и реже стала выходить из своих покоев, очевидно избегала встреч с князем и домашними. Она никогда не показывалась в народе. Уже давно никто не видал ее в церкви.

Напрасно Антонио, с жаром и свойственной ему красноречием, доказывал ей, что хоть на сегодня ей непременно следует отправиться к обедне, на освящение придела, следует показаться вместе с дочерью именинницей. Она упорно отказывалась и объявила, что это свыше сил ее. Как ни настаивал Антонио – ему пришлось оставить ее непреклонной.

«Глупая женщина, помешанная женщина! Только портит дело...» – про себя шептал он, досадуя и волнуясь, в то время как лицо его оставалось неизменно спокойным. И он пошел в церковь подмечать все достойное внимания, прислушиваться к народному говору. Обладая большими лингвистическими способностями, Антонио в короткое время выучился литовскому языку и понимал каждое слово. В обществе же он говорил обыкновенно по-итальянски, так как этот язык был тогда в большом ходу и моде, и даже многие литовцы высшего круга объяснялись на нем очень порядочно. Княгиня Беата знала его в совершенстве...

Сначала все было тихо в замке – деятельная жизнь кипела только на том дворе, где помещались кухни и где в этот день с солнечного восхода делались приготовления к роскошному пиру. Но вот послышался гул и конский топот, потом отдельные голоса и народные крики. Княжеский поезд в сопровождении толпы горожан подъезжал к замку.

Княгиня Беата прислушивалась к этим звукам с каким-то даже отвращением. Эта православная толпа народа, эти православные гости князя казались ей вражеским, варварским войском. Много бы дала она, чтобы провести этот день у себя, запершись с Антонио и дочерью. Но это было уже невозможно, это было бы такое оскорбление князю, после которого нужно было разойтись с ним совсем и поднять целый ряд трудно разрешимых вопросов, в том числе и денежных. И она с ужасом и мучением думала о том, что предстоит выйти «на ту половину», принимать участие в пире, выслушивать, наверное, такие речи, от которых огнем закипало ее сердце.

О, если б она была одна, если б не связывала ее Елена или вернее, если б не было так сильно влияние и могущество князя Константина даже в Кракове, где королю не с руки было окончательно вооружать против себя могущественного литовского вельможу!.. Что ж это не идет Гальшка? Ее совсем отнимают у матери! – княгиня Беата забывала, что она сама отнимала у себя дочь своим неровным, странным обращением с нею. Сегодня Гальшкин праздник, ее именины. Беата приготовила ей богатые подарки. Вот лежат они на столе: удивительное жемчужное ожерелье, которому могла бы позавидовать и королева; цепь тончайшей венецианской работы... Как прекрасна должна быть Гальшка с этим ожерельем на шее... Да, Гальшка хороша неслыханно, она все хорошеет...

В княгине проснулась материнская гордость. Из соседней комнаты слышались легкие шаги, вошла Гальшка, сияющая и цветущая, в своем белом платье, обшитом золотой бахромой, с какою-то новой улыбкой и новым блеском во взоре.

Княгиня поднялась и на мгновение остановилась, пораженная необыкновенной красотой дочери, как бы осветившей собою мрачную и тяжелую обстановку комнаты.

Ее бледное, худощавое, но все еще прекрасное лицо оживилось. Она протянула руки и привлекла к себе девушку, покрывая ее глаза, губы, волосы горячими поцелуями...

– Гальшка! дитя мое! моя дорогая! – говорила княгиня растроганным голосом, не в силах, да и не желая удержать вдруг полившие слезы.

Княжна взглянула на мать, увидела эти слезы, эту мало знакомую ей нежность, и с легким криком радости и сущения припала головою на грудь Беаты.

Так пробыли они несколько мгновений. Потом княгиня взяла Гальшку за руку и подвела ее к столу, на котором лежали подарки.

– А вот это я приготовила для сегодняшнего дня моей девочке, – ласково сказала она. – Вот эта нитка жемчугу – ее подарил моей матери король Сигизмунд I... посмотри, какие зерна – и все на подбор, одно к одному... такого жемчугу не видала ни одна вельможная краковская панна... я надевала этот жемчуг всего раз, как под венец шла. Когда родилась ты, я для тебя его спрятала – не знала еще тогда, что такая красавица ты у меня будешь... Да с этим жемчугом на шее краше тебя и не сыскать никого во всем свете...

И она надела драгоценное ожерелье на тонкую, будто мраморную, шею дочери и застегнула его алмазным запястьем.

– Спасибо, матушка, спасибо, родная, – невольно восхищалась Гальшка, ловя и целуя руку княгини.

– Ну, а вот цепь венецианская – ее я нарочно для тебя заказывала, только что прислали. Смотри, что за работа – словно паутина... Дай руку, я кругом обмотаю – увидишь, как будет красиво.

– Матушка, а ведь и тебе пора нарядиться, – заметила княжна, обнимая мать за этот второй подарок. – Все гости собрались уже в золотой зале... меня про тебя еще в церкви спрашивали, о твоём здоровье спрашивались...

Лицо княгини мгновенно преобразилось; злая усмешка мелькнула на губах ее.

Кому я нужна, что обо мне справки наводят?

Кому я мешаю, что обо мне забыть не могут?.. А ты меня и сегодня упрекнула... Что же ты думаешь – лежала я и спала все утро! Я о тебе молилась, о тебе плакала, просила Бога, чтобы Он просветил тебя истиной, не дал тебе погибнуть в кознях вражеских...

Светлые глаза Гальшки отуманились печалью. Она горько вздохнула. Чудная минута материнской ласки, горячей взаимной искренности мелькнула и исчезла. Она снова чувствовала ту вечную, непреодолимую преграду, которая стояла между ней и матерью, снова испытывала то раздражающее чувство, которое всегда возбуждалось в ней подобными словами.

Это чувство до сих пор составляло единственное мучение ее жизни и избавиться от него она не была в состоянии. Но теперь оно почему-то быстро ослабело – его пересилило необыкновенное, никогда еще так чудно не испытанное ею счастье, которым она была полна все утро. Выражение, бывшее на ее лице, когда она входила в комнату матери, снова вернулось. Оно было так ново, оно так довершало красоту ее, что княгиня Беата не могла его не заметить.

– Какие у тебя глаза сегодня! – сказала она, вглядываясь в девушку. – Что с тобой?.. Тебе весело, ты счастлива?..

– Да... да... мне хорошо, мне весело сегодня, – смущенно прошептала Гальшка.

– Много собралось? Кто еще приехал? А Сангушко? Здесь он?

– Здесь... Я видела его в церкви...

Если б княгиня Беата продолжала глядеть на дочь, она заметила бы, как та смутилась и покраснела.

– Ну, ступай туда, к тетке, а мне вели позвать дежурную панну – я стану одеваться, – рассеянно проговорила княгиня.

Гальшка поцеловала ее и направилась к двери.

На пороге она почти столкнулась с черной фигурой высокого и бледного человека. Он почтительно поклонился.

– Приветствую княжну Елену и приношу мое сердечное поздравление, – сказал он по-итальянски.

– Благодарю вас, отец Антонио, – равнодушно ответила Гальшка и прошла мимо.

Только замолкли ее шаги, он быстро подошел к княгине.

– Я был в церкви, – заговорил он, – вы очень дурно сделали, что остались дома – это только всех вооружит против вас и не поведет ни к чему доброму... Но теперь не то... есть опасность важнее. Скажите, княгиня, желаете ли вы, чтобы ваша дочь навсегда была для вас потеряна, чтобы все ваши планы спасти ее немедленно рушились?!

– Что вы говорите?! – с ужасом прошептала княгиня.

– Я говорю, что все это легко может случиться в самом скором будущем.

– Что же такое случилось – не томите ради Иисуса и Святой Девы!

– Если княжна Елена полюбит русского и выйдет за него замуж – будет ли это ее гибелью?

– О, это было бы ужасное, величайшее несчастье!

– Да, для нее это величайшее несчастье, и для вас тоже, и это несчастье готово совершиться... Если только я могу доверять глазам своим, она уже любит одного из сильнейших врагов нашей святой веры...

– Моя дочь любит? Гальшка? Да она еще ребенок, она так равнодушна ко всем своим поклонникам и искателям! – воскликнула княгиня.

– Она ребенок, – с горькой усмешкой проговорил Антонио. Для вас – да; но этому ребенку уже семнадцать лет... Один час, одно мгновение превращает ребенка в женщину – и это мгновение пришло сегодня, и я его подметил.

– Но кого же любит моя дочь? – в ужасе прошептала княгиня.

– Молодого князя Сангушку, – ответил Антонио еще более бледный, чем когда-либо.

Княгиня Беата отчаянно схватила свою голову руками. Она хорошо знала покойного Сангушку, знала и сына. Она знала, что оба были православными и русскими до мозга костей.

Она помнила, как еще недавно князь Дмитрий Андреевич, на пиру у Острожского, горячо и прямо порицал католицизм и польское влияние, польские нравы и обычаи. С того дня она почувствовала злобу к молодому человеку. И вот этот враг ее веры, ее родины, этот любимец и крестник князя Константина теперь отнимает у нее навеки ее Гальшку... Понятно, что князь Константин не только ничего не будет иметь против этого брака, но даже будет рад ему, употребит все усилия, чтобы его устроить. Но когда же это могло случиться? Когда же Гальшка успела полюбить его – он в последнее время, после смерти отца, несколько месяцев не бывал в замке...

– Этого быть не может! Это было бы слишком ужасно... вы ошибаетесь, отец мой! – пробовала она отогнать от себя уверенность в несчастье.

– Я не ошибаюсь, княгиня, я не стал бы говорить вам, если бы не убедился в справедливости моих подозрений. Ваша дочь действительно еще очень молода – она не умеет скрыть своих первых волнений – ее лицо, ее глаза выдали мне ее тайну...

– Ее лицо, ее глаза!.. Да, правда, правда – у нее странное лицо сегодня! – шептала Беата.

– А! и вы заметили?

– Я даже спросила ее, что с ней. Она ответила, что ей хорошо, весело сегодня...

– Быть может, она сама еще не понимает, не сознает ясно своего чувства, – сказал Антонио, – быть может, все только и началось сегодня... Но разве для этого нужно время...

– Но что же делать, Боже, что делать? – ломала руки княгиня.

– Наблюдать и употреблять все силы, чтобы не допустить этого брака. В случае крайности нужно решаться на все – и к тому же не забывайте, что вы мать, что как бы ни был силен и могуч князь Константин – если вы останетесь тверды, то без вашего согласия, при вашем прямом запрещении, не могут выдать вашу дочь замуж...

– Спасите, отец мой! Идите, идите, наблюдайте – я сама сейчас там буду! – стала торопить его княгиня.

Отец Антонио вышел своими тихими, мерными шагами и направился длинными коридорами и переходами на половину князя Константина, откуда уже доносились говор и звуки музыки.

По его мрачному и утомленному лицу скользило выражение с трудом подавляемой сердечной боли.

V

Антонио Чеккино принадлежал к одному из старых родов Италии. Он вырос в самом блестящем обществе, отличался красотой и ловкостью. Уже в первые годы молодости он приобрел себе известность как храбрый рыцарь и покоритель сердец дамских. Он был совершенным представителем рыцарства того времени, полагавшего все призвание и цель благородного человека в военно-театральных подвигах и чувственной любви, прикрытой платонической маской.

В два, три года молодой Чеккино насчитывал больше десятка поединков, из которых он всегда выходил победителем. Немало южных темных ночей были свидетелями его подвигов более мирного свойства. Немало ревнивых мужей клялись кровавой ему мстостью и трусливо оставались при этих грозных, но бессильных клятвах, над которыми откровенно смеялся самоуверенный счастливец.

Жизнь его проходила как сон, причудливой и волшебной. Постоянные удачи и лесть баловали его плохо направленное, мелкое самолюбие. Мысль бездействовала... А между тем в его природе лежали зародыши такой силы, которая не могла удовлетвориться слишком узкой ареной. Он не успел еще превратиться в зрелого мужа, как уже безотчетная грусть и скука начали врываться в его веселье. То, что так недавно считал он за счастье, переставало казаться ему счастьем. Рыцарские забавы теряли свою прелесть; ласковые взоры благосклонных дам уже не сулили блаженства.

Но между этими дамами была одна – молодая графиня Риччи, умная и ловкая кокетка, не почерпавшая силу своих чар в общепринятом маленьком кодексе, где по пунктикам значилось все, чем прекрасная дама должна была побеждать сердца благородных рыцарей. Графиня Риччи была самостоятельна и оригинальна в деле кокетства. У нее были свои приемы – постоянно неожиданные и разнообразные, которыми она весьма искусно уловляла в сети. Скучающий и жаждавший нового интереса Антонио сам не заметил, как горячо полюбил ее.

Она долго его мучила, чтоб окончательно закрепить власть за собою. Но она сама была им несколько увлечена и под конец тронулась его страстью. Блаженству его не было границ. Ему казалось, что он возродился к новой жизни. Во славу своей возлюбленной он готов был на всевозможные подвиги. Он создал из своих дней и ночей огромный роман во вкусе эпохи и тайно от чуждых взоров переживал все его тончайшие перипетии.

Избалованный всеми женщинами, с которыми сталкивался, привыкший только возбуждать ревность, но никогда ее не испытывать, он не боялся и за свою графиню. Ему даже и в голову не приходила мысль о возможности с ее стороны измены. Ему только хотелось как-нибудь навсегда отделаться от ее сонного и разжиревшего мужа, присутствие которого становилось чересчур скучным.

А между тем, привыкшая к разнообразию графиня уже искала новой жертвы и, разумеется, скоро нашла ее. Услужливые друзья постарались анонимно предупредить об этом Антонио. Он сразу не поверил; но и одного сомнения было достаточно, чтоб возбудить в нем ад, поднять все его страсти. Ему недолго пришлось находиться в неизвестности – он еще не успел придумать способа убедиться в измене графини, как она сама предложила ему отставку. Она не знала своего рыцаря. Она шутила и смеялась; но смех и шутка замерли на губах ее – одно мгновение – и она плавала в крови своей, а Антонио, с искаженным, безумным лицом, бледный, как смерть, спускался, шатаясь, с потайной лестницы, по которой он так часто крался, счастливый и блаженный... Он не помнил как вскочил на своего, привязанного в саду, коня, как примчался домой. На другой день таинственная история убийства графини была у всех в устах. Антонио, придя в себя, не захотел явиться с повинной – он только казался мрачным и задумчивым; многие его подозревали, но ясных улик не было. Некоторые даже говорили, что убийцей был сам граф, убедившийся в неверности жены. Как бы то ни было, дело кончилось

ничем – молодую женщину торжественно похоронили в фамильном склепе, а мрачный Антонио скоро неизвестно куда скрылся.

Его не мучило раскаяние; он как-то сумел потопить и любовь свою, и злобу в крови графини. Но тоска и скука томили его невыносимо. Общество, в котором он жил, жизнь, которую вел, опротивели ему. Нужно было покончить с ними, искать какого-нибудь нового существования, новой деятельности.

Он вспомнил одного человека, который когда-то произвел на него сильное впечатление. Человек этот был Диего Лайнец, генерал ордена иезуитов.

К нему решился идти Антонио, чтобы навсегда отказаться от прошлого и начать новую деятельность, которая привлекала его своей таинственностью и очевидным могущественным значением.

В одежде послушника явился блестящий рыцарь перед генералом иезуитов. Он принес с собою все свое золото, все драгоценности и просил принять их в дар на нужды общества. Он умолял не выдавать его имени и дать ему какое-нибудь поручение вдали от тех мест, где его знали... он клялся посвятить всю жизнь на службу Богу и ордену...

Проницательный Диего сразу увидел, с каким человеком имеет дело. Ему неясны были подобные люди. Но прежде необходимо было испытать Антонио. И Диего провел его через долгую школу испытаний.

И удивительная перемена произошла в Антонио. Он, бывало, не признававший ничьей воли, кроме собственной, привыкший к поклонениям и лести, превратился в самого почтительного и безответного исполнителя чужих приказаний. Его самолюбие и честолюбие получили совершенно новое направление – ему хотелось удивить отцов иезуитов подвигами своего смирения.

Тоска и скука, от которых он бежал, замерли в нем. Он испытывал совсем новое, страстное наслаждение в самобичевании, в умерщвлении плоти, в фанатических грезах. Здоровый и сильный – он мог вынести многое, но все же, когда через полгода он явился к Диего, строго исполнив свой искуc, генерал едва узнал его. Он был страшно худ, с углубившимися и лихорадочно блестящими глазами, с новым выражением в лице.

«Вот человек, какого нам нужно! – подумал Ланнец, – он может сломить в себе все, и ни перед чем не остановится, – он не упадет духом и не изменит».

Генерал торжественно объявил Антонио, что из разряда достойных похвалы учеников (*sholastici approbati*) он переводит его, не в пример прочим, прямо в высшую степень «профессоров» или «исповедников», то есть деятельных, исполняющих важные поручения членов общества Иисуса. Он оставил его при себе, обращался с ним, как с другом, и скоро посвятил во все тайны иезуитства.

Перед Антонио открылось многое, чего он и не подозревал. Мало-помалу в беседах увлекательно красноречивого Диего выяснилась обратная сторона действий ордена, давших ему в короткое время такую силу и значение, возбуждавших к нему страх и ненависть большей части общества. Антонио увидел, что школа умерщвления плоти и беспрекословного послушания не только папе, но и воле ближайшего орденского начальства должна была привести человека не к высшему служению Богу, а имела единственной целью сделать, из иезуита сильное орудие для достижения совершенно земных целей. Обращение народов в латинство (католичество – Д.Т.), полное владычество «общества Иисуса» над умами и материальными средствами ближних – вот в чем состояла программа, поведенная Антонио генералом.

Но все, что в этой программе могло смутить совесть рыцаря, было совершенно сглажено тем влиянием, которое Диего уже получил над Антонио. Пламенные речи, блестящие софизмы, ловкие обещания могущества и власти в близком будущем сделали свое дело. Посвященный во все тайны, Антонио превратился в истинного, безукоризненного иезуита. Он с боль-

шим еще жаром и искренностью поклялся генералу быть верным слугой папе и отдать всю жизнь на благо ордена.

Перед ним заманчиво рисовалась благодарная, увлекательная деятельность. Ему предстояло уловлять сердца не ловкостью и физической силой, не красотой и блеском, а силой разума; предстояло приходить к владычеству над людьми тайными, ловко перепутанными путями. Его самолюбию открывалась обильная пища.

Скоро ему представился случай испытать свои силы.

Он был послан миссионером в Бразилию и в течение трех лет присылал генералу ордена огромные списки новообращенных; кроме того, через него орден получил и значительные денежные средства. Антонио имел огромное влияние в местности, где действовал; беспрекословно и постоянно удачно исполнял он все приказания, высылаемые из Рима, и благосклонный Диего Лайнец обратил на его деятельность внимание папы. Решено было вызвать Антонио в Рим и поручить ему какое-нибудь важное дело, требующее осторожного и ловкого человека.

Антонио явился с апломбом испытанного и знающего себе цену деятеля. Он был дружелюбно встречен генералом и имел продолжительную аудиенцию у Пия V, который расстался с ним, благословив его на новый «подвиг».

«Подвиг» этот действительно был важен. Рим давно уже жадно следил за Польшей и Литвой. Оттуда начинали приходить все более и более тревожные известия. Необходимо нужно было утвердить шатающееся латинство в Польше и сделать «схизматическую» Литву достоянием «истинной» церкви. Такое дело было только по плечу иезуитам. Но явиться сразу и действовать прямо они, разумеется, не хотели: им нужно было подготовить себе почву, очистить путь, заручиться такими сведениями, которые бы не допустили возможности ошибки.

Особенно в православной Литве, имевшей таких вождей, как князь Константин Острожский, нужно было хорошенько осмотреться и найти себе сторонников и учеников в среде влиятельных, вельможных семейств русских.

А тут, как нарочно, представлялся самый удобный случай начать тайные, враждебные действия в самом центре литовского православия, в семье Острожских. Княгиня Беата, верная дочь римской церкви, пожертвовавшая на католическую пропаганду значительные суммы, просила у папы духовника и руководителя по его личному выбору и с его благословения.

Папа избрал отца Антонио.

Мы видели, что иезуит ловко приступил к исполнению своей миссии. Он получил огромное влияние на княгиню Беату, он очаровал всех в замке. Он аккуратно посылал в Рим очень важные и интересные донесения. Кроме того, два старших сына князя Константина были в его руках. Мальчики очень боялись отца и этот страх, основанный на его строгости и раздражительности, лишил их детской откровенности с ним. Князь, удрученный делами и заботами, не имел никакой возможности постоянно следить за детьми. Антонио стал пользоваться каждым удобным случаем перекинуться с ними несколькими словами и скоро так обворожил их своей добротой и участием, что они считали его своим лучшим другом. Он сумел внушить им уверенность, что для них лучше, если эта дружба останется в тайне ото всех. И дети дорожили этой тайной, свято хранили ее и мечтали о блаженной жизни мальчиков в той стране, откуда приехал их друг и куда они сами могут попасть, если будут умными и станут слушаться его советов. С каждым днем укреплялись эти тайные отношения. Иногда дети за неимением возможности увидаться с Антонио пересылали ему записочки, кладя их в дупло заранее условленного дерева в парке; они жаловались своему другу на притеснения и наказания, которым подверглись, и добрый друг всегда являлся их сторонником, осуждая тех, кто причинял им неприятности. Мало-помалу он развивал в мальчиках недовольство отцом, его строгостью...

А деятельный князь Константин, хоть и глядел на Антонио как на тайного врага, все же не замечал ничего, не подозревал, что этот тайный враг успешно отнимает у него сыновей, подготавливает в них, в князьях Острожских, отступников от православия...

Одно только никак не удавалось отцу Антонио. Ему не удавалось получить влияния над Гальшкой. Князь, уверенный в ее благочестии и искренности, насколько возможно следивший за нею, позволил Антонио давать ей уроки итальянского языка. Эти уроки не могли повредить ученице; но они вызвали ад в душе учителя. Отец Антонио, давно позабывший все соблазны мира, прошедший долгую и страшную школу лишений и умерщвления плоти, искренно отказавшийся от всего, чем когда-то полна была жизнь его, не устоял перед соблазном внешней и нравственной красоты княжны Елены и полюбил ее безумно, со всем жаром своей страстной природы, крепко подавленной, но не убитой силою воли.

Эта вторая любовь принесла монаху гораздо более тайных мучений, чем первая. Он ясно видел, что она безнадежна, что Гальшка не будет отвечать ему, что она смотрит на него, как на учителя, как на монаха чуждого ей вероисповедания, и как-то даже совсем не видит в нем мужчину. Это сознание было для него ужасным. Не прошло еще и шести лет с тех пор, как он был блестящим рыцарем, любимцем женщин... Неужели он с тех пор так страшно изменился? Да, он бледен, он худ, глаза его впали, манеры и обращение светского человека перешли в сдержанность и скромность служителя церкви... Но, Боже, разве молодость ушла навсегда, разве черная одежда положила на него несмываемую печать? Стерла все признаки былой красоты его!? Он замечал, как одна из хорошеньких паненок, приближенных княгини Беаты, смущалась и краснела встречаясь с ним. Эту шляхтянку звали панна Зося, она была полька и католичка. Он исповедовал ее, потупив глаза, и говорил с ней только о религии... Но и изпод опущенных ресниц видел, как она, не отрываясь, смотрела на него, краснела и бледнела... Ее голос дрожал, грудь высоко поднималась. Однажды, не в силах будучи владеть собою, она залилась слезами, упала перед ним на колени и призналась ему в любви своей. Отец Антонио хорошо знал, что один параграф тайных иезуитских Наставлений, составленных самим Диего Лайницом, допускает делать все, приятное женщинам, преданным душою обществу Иисуса, только требует осторожности и избежания соблазна... Панна Зося была молода, красива; пользуясь благосклонностью не только Беаты, но даже и Гальшки, она годилась для роли шпиона.

Но полным страстной любви к Гальшке, он не пленялся красотой и слезами своей духовной дочери. Он ласково поднял ее и стал успокаивать... Он говорил ей, что нужно бороться с соблазнами, говорил увлекательно и долго... Тон его слов и их намеки не поощряли, но и не внушали безнадежности.

Молодая девушка ушла от него с твердым намерением не отгонять от себя соблазнов и в конце концов добиться любви прекрасного монаха...

И не одна панна Зося находила его прекрасным – он встречал немало поклонниц. Для них он и в черной одежде, говорящей об обете целомудрия и полного отречения от мира, не терял своей привлекательности, а даже напротив – манил к себе как плод запретный... Но Гальшка была слишком далека от подобных взглядов. Его наблюдательный ум верно выяснил ему ее характер. Она была еще таким чистым, невинным ребенком... И, однако, эта чистота чувства и помыслов являлась не единственным признаком крайней молодости – она была присуща ее натуре и победить ее вряд ли предстояла возможность. На все вещи Гальшка смотрела прямо. Если б она узнала, что кто-нибудь из ее сверстниц влюбится в отца Антонио, она бы глубоко изумилась возможности этого и во всяком случае признала бы такое чувство позорным для женщины и глубоко оскорбительным для Антонио. Он монах, он отказался от мира, торжественно принял обет безбрачия, полюбить как мужчину подобного человека – грех позорный и возмутительный. Если же бы она узнала, что он сам полюбил кого-нибудь – она почувствовала бы к нему презрение, сочла его осквернителем своего сана, недостойным носить его. Такой взгляд не был привит ей извне, она носила его в себе и изменить не была в состоянии.

Антонио хорошо понимал все это. У него бесповоротно отнято было право всякого мужчины добиваться любви горячо любимой им девушки. Он не смел ничем выказать ей своего чувства. Напротив, он должен был всячески скрывать его, глубоко хранить в себе, чтобы не

заслужить ее презрения. Эти неожиданные им обстоятельства, эта глухая, невыносимая борьба окончательно отравляла жизнь его.

А между тем он не желал смерти. Он не мог умереть с мыслью, что Гальшка достанется другому, что она будет любить, будет счастлива... Нет, если судьба так жестоко над ним посмеялась, если для него погубило все – пусть же и никто не прикаснется к его недосыгаемой святине... Его тайные чувства сходились с целями пославшего его Лайнеца. Княжна Гальшка должна принадлежать только Богу, ее удел – монастырь...

Горькие мысли Антонио переходили в видения и галлюцинации. Ему являлась чудная красавица, окруженная блеском храма, облаками благоухающего ладана... Вот ее нежные пальцы касаются органа... раздаются дивные, божественные звуки... ее чистый, невинный голос поет песнь Богу... «Святая Цецилия! святая Цецилия!» – шепчет потрясенный монах, падая в изнеможении и обливаясь никому неведомыми слезами...

И все свои силы напрягал Антонио, чтобы подействовать своим красноречием на душу Гальшки, чтобы внушить ей сознание необходимости исповедывать одну веру с матерью, чтобы доказать истину и превосходство этой веры перед православием. Нужно было действовать хитро и осторожно, нужно было тщательно скрывать свои цели. Всякий, сколько-нибудь прямой намек смущал Гальшку; она прерывала Антонио простым замечанием, что она православная.

Княгиня Беата тоже не могла помочь, и исполнение предписанного Лайнецом образа действий было невозможно. Княгиня и решила бы, пожалуй, в виду благой цели, притеснять и мучить Гальшку; но князь Константин никогда бы не допустил этого. Следовательно, оставалось добиваться удаления Беаты и Гальшки из дома Острожского. Княгиня, несмотря на все влияние Антонио, еще не могла на это решиться. Однако в последнее время она уже стала колебаться. Иезуиту оставалось выждать случай, когда бы можно было приписать почин разрыва князю Константину, и затем обставить дело так, чтобы князь, несмотря на все свое могущество и влияние, не был в силах удержать при себе Елену...

Решением этого вопроса и занят был отец Антонио, когда его проницательный взгляд подметил зародившееся в Гальшке чувство к молодому князю Сангушко.

Ужас и отчаянная ревность наполнили сердце монаха. Он отдал бы все, он подверг бы свою душу вечным мучениям ада, чтобы только иметь возможность, как в былые дни, вскочить на коня и сразиться со счастливым князем. О, он убил бы его, он растоптал бы его конскими копытами...

И в то время, как эти отчаянные, безумные мысли вихрем клубились в голове его, как его грудь изнывала от боли, его бледное лицо не выражало ничего, кроме мрачного спокойствия.

Через час он уже овладел своей болью и решил действовать хладнокровно и обдуманно. Он уже начинал предвидеть, что ужасное обстоятельство, открытое им, может послужить к достижению его цели, к окончательному разрыву между князем Константином и Беатой.

VI

Солнце закатилось за извивом реки Гарыни. Наступали прохладные и душистые сумерки. Пир князя Острожского был в самом разгаре. Зажигались яркие огни в замке; в цветниках и парке приготовлялась роскошная иллюминация. Многочисленный итальянский оркестр князя под управлением талантливого маэстро Скорцо далеко оглашал безветренный и прозрачный воздух. Толпы разряженных мужчин и женщин двигались по парадным залам, выходили на террасу и рассыпались по дорожкам сада отдохнуть и освежиться в тени вековых деревьев.

Огромный белый замок со своей причудливой итальянской архитектурой, весь залитый светом, музыкой и движением производил среди ясного, весеннего вечера волшебное впечатление. Он казался заколдованным дворцом могучего чародея, созданным его служебными духами. Очарование не исчезло и при входе во внутренние покои. С обширной террасы, вымощенной драгоценной мозаикой, огромные резные двери вели в целую анфиладу залов, поражавших своей роскошной обстановкой. Главная зала, в два света и с хорами, на которых помещался оркестр, была обтянута золотой парчой с ярко-малиновым по ней рисунком; пол был в ней мраморный, мозаичный; глубокий потолок, уходивший куполом, поражал причудливой лепной работой. Были залы, обитые бархатом, были небольшие покои для отдыха женщин, устланные дорогими коврами, сверкавшие вделанными в стены бесчисленными зеркалами венецианского изделия. Всюду мрамор, серебряные массивные вещи огромной стоимости. Обширные столовые с длинными, заставленными кушаньями и винами столами, со стенами, покрытыми до потолка серебряной фамильной посудой, выставленной на полках. Стоимость этой посуды равнялась многим сотням тысяч.

Много было в этот день званных, почетных гостей у князя Константина, но число их терялось в массе гостей незваных и непочетных, явившихся по обязанности и частью живших в зданиях, окружавших замок. Здесь можно было встретить сотни шляхтичей с семьями, живших милостями князя. Тут были офицеры, духовные, писатели. Большинство из них имело при замке свои отдельные помещения, содержало свою прислугу, лошадей, экипажи. Кроме того, эти люди получали от князя жалованье в несколько тысяч и бесплатно арендовали у него фольварки. Еще больше было здесь шляхты, состоявшей на княжеском жалованье и обязанной являться в Острог по торжественным дням, а также сопровождать князя на сеймы.

У князя Константина был также свой почетный домашний караул, в котором числилось несколько сотен казаков, валахов, венгерской пехоты и немецких драгун. Около восьмисот молодых шляхтичей, пажей и паненок дополняли придворный штат замка, содержание которого поглощало половину громадных доходов князя Острожского, другая же половина отдавалась им на дело распространения и поддержания православия.

И вся эта масса разнообразного, разнохарактерного люда была теперь в сборе и предавалась чисто необузданному веселью. Бесчисленной прислуге то и дело приходилось выносить из столовых почетных гостей, слишком усердно оказавших честь сокровищам княжеских погребов. Маршал то и дело отдавал своим помощникам приказания восстанавливать тишину то в одном, то в другом покое...

Подальше от толпы, от блестящей молодежи, окружавшей нарядных женщин, в укромном углу прохладной столовой, собралось человек двадцать шляхтичей и военных. Тяжелые серебряные кубки то и дело наполнялись темным, душистым венгерским. Собеседники, очевидно, были увлечены равно для всех интересным разговором.

Между ними обращала на себя внимание толстая, несколько комичная фигура шляхтича Галынского, приближенного и любимца молодого князя Сангушки. Круглое добродушное лицо его было еще краснее обыкновенного; он молодецки закрутил свои бесконечные усы, сдвинул брови и сверкал глазами.

– Подумайте, люди православные, до чего у нас ноне доходить стало! – горячился он, стуча красным, жирным кулаком по столу, так что густое вино колыхалось в стопах и кубках. – Что мы такое? вольные люди или рабы короля польского? Что такое наша вера святая, что отдают ее на посмешище и позор великий? Только и слышишь, что король такой-то да такой-то монастырь отдал своему холопу, дьяку канцелярскому... а то и сами наши пастыри чинят всякие беззакония... И год от году все хуже да хуже. Сначала один волк был, львовский епископ Арсений, тот, что ограбил и в разор ввел монастырь Уневский; а теперь, прости Господи, почти каждый епископ, каждый архимандрит – зверь лютый и разоритель... Наедет этот епископ на монастырь, награбит все добро запасенное, да еще и гневом королевским страшает: вот, мол, пикните только, так отдадут вас пану польскому, тот с вас по семи шкур драть станет...

– Это точно, это так! – вмешался другой шляхтич. – И срам-то какой: духовенство православное так и лезет в Краков с жалобами друг на друга... Случилось мне недавно, по делу пана моего милостивца, съездить в Краков... Ну и навидался же я соблазнов... Эти пастыри наши духовные, столпы нашей веры, ругаются как псы, тайно задаривают дьяков королевских, ищут как бы извести друг друга. Чего уж тут ждать путного – того гляди продадутся все не то папе римскому, не то немецкого монаха апостолом признают.

– А слышали? – робко и оглядываясь по сторонам заговорил какой-то маленький, невзрачный старик. Наша-то княгинюшка Слуцкая, опять позабыла гнев королевский. Ну вот не может спокойно жить, да и только! Послала наемни грамоту Трифону Огольскому, своему наместнику. Так и пишет: ты, говорит, митрополита не бойся, не те времена, что прежде, король в мои дела не станет уж вступаться. Провинился в чем перед тобой поп – ты и суди его своей властью; в тюрьму, так и в тюрьму его – и то разрешаю. А если, говорит, муж на жену, али там жена на мужа жалобу принесут, то ты жалобу ту выслушай, да и учини расправу, дозволяй и развод – коли нужно... Верите—ли – сам, своими вот этими глазами читал грамоту – ведь ее сочинял-то Матвей Петрович, друг мой и приятель...

И маленький старик обвел присутствовавших удивленными глазами.

– Дела, дела! – снова закричал Иван Петрович Галынский, волнуясь и расстегивая на все пуговицы кафтан, в котором ему становилось чересчур уже тесно. – Дела! как послушаешь – инда тошно становится... Но пуще всего беда нам от королевского права подаванья. Ну и точное ли это дело, монастырь православный отдавать светскому, да зачастую еще и католику – ляху! Ведь это что ж такое! Ведь этому нужно конец положить на сейме... неужто ж князь Константин Константинович допустит долее такое посрамление!

Никто не заметил, что сам хозяин стоял у двери и прислушивался к разговору.

– Думаю я, друг, как бы пресечь это зло, да много ли тут сделаешь, коли люди горазды стали по углам шептаться, а до дела дойдет – отмалчиваются, – сказал князь Константин, подходя к столу.

Собеседники вздрогнули от неожиданности, быстро и почтительно встали перед князем. Галынский тщетно пробовал застегнуть кафтан и даже оторвал одну пуговицу.

Князь не обратил никакого внимания на признаки почтительного страха, возбужденного его появлением.

Да вряд ли он их и заметил – он так давно привык встречать их повсюду.

Он продолжал:

– Мы уж немало толковали с митрополитом Ионой. Порешили так: для начала я молчать буду, а все возьмет на себя митрополит. Он готовит к королю много просьб и непременно представит на сейме убедительное прошение, чтобы власть духовную не отдавать людям светским... Если же король отдаст духовную должность светскому человеку, и этот в течение трех месяцев не примет сан духовный, то дабы дано было право владыке отбирать от такого человека достоинства и хлебы духовные а отдавать их людям духовным. Авось король одумается и исполнит нашу просьбу. Ну а нет, так придется действовать иначе... Радуюсь, друзья мои,

видя, что вам близки дела эти, только будьте тверды, не забывайте, что дело церкви Божьей – прежде всего, прежде всех дел человеческих. А это теперь совсем стали забывать православные люди. Много зла не от нас, но главное зло от нас, в душах наших пустило оно свои корни... Зло тяжелое и истинная погибель наша – оскудение в нас веры и благочестия...

И князь, грустно опустив голову, прошел дальше.

Он подходил то к одной, то к другой кучке. Здесь и там бросал свое слово, прислушивался к разговорам, подмечал господствовавшее настроение перед открывавшимся в скором времени сеймом, наблюдал за своими гостями.

Эти наблюдения были далеко не утешительны.

Разговоров о делах настоятельных и важных было слышно мало. Передавались сплетни, хвастались и лгали безбожно, втихомолку посмеивались друг над другом; иные гости едва ворочали языком и тупо глядели помутившимися от вина глазами.

Женщины кокетничали напрополую. Летали страстные взгляды, намеки. Здесь и там, среди шума и движения толпы внимательный взгляд мог заметить то робкие, то страстные пожатия рук, чуткое ухо могло подслушать любовные признания, многие тайны обманутых мужей и жен, зарождение семейных драм и скандалов...

Мы знаем из достоверных свидетельств современников печальные подробности литовской общественной жизни того времени. Мы знаем, что на роскошных пирах и балах вельмож литовских царствовали уже самые испорченные нравы, что женщины высшего общества, по словам одного летописца, соперничали не в добродетелях, а в бесстыдстве. Девушка вельможного рода, жена знаменитого князя, часто втихомолку заводили интриги с ничтожными шляхтичами, услужниками своих отцов и мужей. Это было дело вовсе не понятий о равноправности всех сословий, не протест против кастовых взглядов – литовская женщина XVI века была чрезвычайно мало развита и образованна – это было дело необыкновенной испорченности нравов, отсутствия всяких твердых правил. Цинизм проглядывал не только в поступках, но даже и в речах. Женщины перестали стыдиться и отказались от всякой хотя бы чисто внешней скромности...

В огромном «золотом» зале замка танцевали бесчисленные пары. Неутомимый оркестр переходил от одной мелодии к другой, от одного темпа к другому. Здесь оживление достигало своего высшего предела. Одно за другим быстро мелькали разгоряченные лица. Молодые женщины и девушки были буквально залиты драгоценными камнями, сияли дорогими причудливыми нарядами. Летучие фразы, остроты, насмешки, улыбки и откровенный смех перекрещивались в общем вихре...

Хорошенький Федя из свиты Сангушко танцевал с панной Зосей. К нему так шел его шитый золотом кафтан и маленькие пушистые усики, оттенявшие румяные губы. Она была тоже очень красива с длинными косами, переплетенными жемчугом, со своими черными выразительными глазами. Оба они были так молоды, так полны жизни... они крепко держались за руки, были так близко друг к другу... Им ли не наслаждаться этим быстрым, увлекательным танцем, этими влюбленными звуками нежной итальянской музыки, им ли не глядеть в глаза друг другу и читать в них первые строки зарождающейся страсти...

А между тем и хорошенький, статный Федя, и хорошенькая Зося были рассеяны и только из приличия едва перекидывались несколькими фразами. Зося глядела по сторонам, не мелькнет ли где черная, высокая фигура бледного человека. Несмотря на всю свою молодость, она сегодня не могла наслаждаться балом, она даже не замечала весь день обращенных на нее влюбленных взглядов более чем десятка красивой молодежи, не слушала самых лестных комплиментов. Ей хотелось уйти из этих залов в самую глубь покоев княгини Беаты, в тихую каплицу, где одетая в белое атласное платье, с длинным шлейфом, с золотой маленькою короною в волосах стояла точенная из дерева, раскрашенная статуя Мадонны. Ей хотелось у ног этой статуи слушать тихие речи прекрасного исповедника, чувствовать его тонкую руку на голове

своей... Ее страсть к Антонио разгоралась все сильнее и сильнее... Федя тоже следил за кем-то, за далекой, светлой фигурой, от которой весь день не мог он отвести своих глаз и своего сердца.

Эта светлая фигура, эта царица праздника, чудная княжна Гальшка теперь танцевала в стороне с князем Дмитрием Андреевичем Сангушко. Весь день она была предметом всеобщего внимания и восторга. Вокруг нее образовалась блестящая свита самых красивых и знатных девушек, приехавших из литовских и польских замков. Но вся их красота, молодость и свежесть совершенно терялись перед ее неслыханной красотой. Она возбуждала зависть, но в то же время влекла к себе неодолимо. Ее обращение со сверстницами было полно искренней доброты и ласки.

Знатные и богатые молодые поляки, несмотря на свою тайную ненависть к князю Константину Острожскому, собрались из Кракова в его замок, забыли придворных красавиц и не отрываясь следили жадными глазами за Гальшкой. Все они бессовестно льстили князю Константину, прикидывались друзьями русской национальности и воображали, что могут обмануть его.

Но больше всех льстил, больше всех лгал, больше всех увивался за Гальшкой граф Гурко, воевода познанский, поляк и лютеранин. Это был человек еще молодой, но невзрачный с виду, с темнокожим, усеянным веснушками лицом, с зеленоватыми глазами, с черною, жесткой, как войлок, подстриженной щетиной волос. Он давно приглядывал себе подходящую невесту. Его безалаберное управление своими поместьями, неслыханные жестокости с крестьянами, от которых они приходили в крайнюю нищету и массами бежали в непроходимые дебри Полесья, мало-помалу сильно расстроили дела его. У него были большие связи в Кракове, за него стояли Радзивиллы, ему сродни приходились многие польские магнаты. Он добился назначения познанским воеводой и тотчас же приступил к системе всевозможных лихоимств и вымогательств; говорили даже, что он не стыдился входить в сделки с жидами. Но и это еще не могло дать ему таких средств, о которых мечтал он...

И вот вельможный граф Гурко решился искать невесты, которая бы обладала огромным состоянием. Он уже давно наметил Гальшку и твердо решился добиться руки ее. Разумеется, он не мог не видеть всей красоты ее, он сознавал всю ее прелесть; но холодное его сердце молчало. Ему были нужны только деньги и деньги; он даже заранее рассчитывал, что и из красоты Гальшки можно будет извлечь многие выгоды при изнеженном, сластолюбивом Сигизмунде-Августе. Теперь он преследовал Гальшку своими довольно пошлыми любезностями и хвастливыми рассказами, правдивость которых даже для самого наивного слушателя представлялась весьма сомнительной. Он притворялся безумно влюбленным и в то же время выслеживал – нельзя ли кого-нибудь подкупить в интересе затеваемого им дела.

Он не мог себе представить ни одного предприятия без подкупа.

Не в натуре Гальшки было кого-либо ненавидеть – она ко всем обращалась с одинаковой доброю. Но граф Гурко был ей инстинктивно противен. И она никак не могла победить в себе этого чувства.

Другим явным искателем ее руки был родственник Острожских, князь Олелькович-Слуцкий, один из знатнейших вельмож литовских. Он представлял из себя совершенную противоположность Гурке.

Это был высокий, толстый увалень лет тридцати пяти, с бесцветным и добродушным лицом, не обличавшим особенных умственных способностей. Он чистосердечно был влюблен в Гальшку и даже говорил об этом с князем Константином. Тот дал ему ответ очень уклончивый, сказал, что не станет вмешиваться в это дело и вполне предоставляет выбор самой Гальшке. Князь Константин не мог ничего иметь против ближайшего родства с Олельковичами-Слуцкими. Такая партия даже и для Елены была прекрасной. К тому же князь Слуцкий оставался

верен православию. Но он был слишком безличен, слишком недалек, и не о таком женихе мечтал Константин Острожский для своей любимой племянницы.

Тут же, в числе гостей находился еще один горячий поклонник Гальшки, богатый польский пан Зборовский, храбрый рубака и кутила, весельчак и говорун. Но он хорошо сознавал, что несмотря на все свое богатство, все же он недостаточно знатен, чтобы смело явиться искателем руки княжны Острожской. Его не без основания пугала возможность отказа со стороны ее родственников. А потому он и решился действовать прямо на Гальшку, покорить ее своею удалью, своими веселыми шутками.

Расчет его, однако, был неверен. Гальшка слушала его, иногда только слабо улыбаясь, и то из приличия и чтоб не обидеть самолюбивого пана...

Гальшка весь день была в сильно возбужденном состоянии, чего с ней прежде никогда не случалось. Ей было скучно среди многочисленных смелых и робких поклонников. Она рассеянно слушала болтовню подруг... Но только подходил Сангушко – и сердце ее начинало усиленно биться, и не могла она одолеть волнения. К вечеру между ними установилось безмолвное общение, они видели в толпе только друг друга и при всякой возможности оказывались рядом.

Теперь они танцевали вместе.

Они остановились, переводя горячее дыханье, и пропускали мимо себя несущиеся пары.

Музыка то замирала, почти обрываясь, то вдруг новые, страстные звуки рождались на месте прежних и лились с хоров, возбуждая усиленную быстроту в танцующих.

Гальшке начинало казаться, что она несется куда-то, в каком-то безбрежном, блестящем пространстве... а, между тем, Сангушко тихо говорил ей, указывая в окна:

– Взгляни, княжна, уж разноцветные фонари горят в саду, там прохладно, сегодня такой славный, душистый вечер в честь твоего Ангела... А здесь стало жарко и душно, голова кружится от этой толкотни и шума... Не сойти ли нам в сад, освежиться немного?..

VII

В цветнике и по аллеям сада была зажжена блестящая иллюминация. Разноцветные фонари, узорчатые щиты с замысловатыми девизами, сверкали и переливались огнями. Высоко били фонтаны. Толпы гуляющих теснились на площадке перед замком, откуда была видна внутренность золотого зала. Здесь многочисленная прислуга разносила воды и всевозможные прохладительные напитки. Несколько пар удалились в потемневшую глубину парка.

Гальшка повела Сангушку к своему любимому маленькому гроту, едва заметному сквозь густо разросшиеся ветки сирени.

В гроте было поставлено две мраморные скамейки. В глубине его из пасти каменного дракона сочились струйки прозрачной ключевой воды, стекавшие в большую вазу, сделанную в виде раковины. Здесь было прохладно и в самый жаркий полдень. Теперь же замечалась значительная сырость.

Но молодые люди были слишком далеки от подобных наблюдений. Гальшка оставила руку князя и опустилась на холодный мрамор скамьи. Она не могла дать себе отчета в своих ощущениях, но ей почему-то становилось страшно. Она предчувствовала, что наверное и сейчас должно совершиться что-то такое неизбежное и огромное своим значением. И эта уверенность подавляла ее, наполняла ужасом и каким-то восторгом. Она чувствовала себя слабой и дрожала, голова ее кружилась.

Один только фонарь бледно-розового цвета освещал внутренность грота.

Прелестное лицо Гальшки, мгновенно побледневшее, казалось еще прелестнее в тихом полусвете.

Сангушко безумными, восторженными глазами глядел на нее и не мог оторваться.

Он хотел говорить, хотел высказать ей все, но мысли его путались, язык не слушался.

Без слов упал он перед ней на колени...

– Гальшка! дорогая! когда бы ты только могла знать, как я люблю тебя! – вырвалось, наконец, из груди его.

Она приподнялась было, но не смогла и неподвижно сидела – только ее грудь высоко поднималась.

Как будто молния ударила в нее... Потом наступило затишье... потом вдруг прилив бесконечного блаженства наполнил ее душу. Она не могла вместить в себе этого блаженства, оно сдавливало ей дыханье, оно поднималось все выше и выше и разрешилось потоком слез, неудержимых и счастливых...

Сангушко с испугом взглянул на нее.

– Ты плачешь?! Я оскорбил тебя?!

Он взял ее похолодевшие, дрожавшие руки, он покрыл их поцелуями: она не сопротивлялась, а тихие слезы все лились по щекам ее.

– Не плачь, успокойся... скажи мне, любишь ли ты меня? скажи мне, моя ненаглядная красавица, – шептал князь, сознавая свое счастье, но все же еще боясь потерять его.

Люблю...

Гальшка сама не знала, как сказалося это слово. Оно вырвалось у нее бессознательно, помимо ее воли.

И тут она сразу поняла все, она поняла, что, действительно, любит его, что эта любовь и есть то счастье, выше которого нет на свете.

Он кинулся к ней. Он обнял ее. Она припала к нему на плечо и не нашла в себе силы сопротивляться его поцелуям.

Прилив так быстро пришедшего, такого полного счастья на несколько мгновений отрезил их от действительности. Они не могли понять, где они и что с ними. Первым очнулся

Сангушко. Ему показалось, что он проснулся после какого-то чудного, волшебного сна. Но и пробуждение было чудно, так же блаженно.

Гальшка уже не плакала. Обессиленная и счастливая, она неподвижно сидела, прижавшись к плечу его, погруженная как будто в дремоту.

Сангушко начинал мало-помалу соображать, что эти минуты в полутемном гроте с тихо журчащей струйкой воды не могут продолжаться. Того и гляди войдет кто-нибудь из гостей. Исчезновение Гальшки из зала, наверное, было всеми замечено, наверное, ее уже ищут, и их продолжительное отсутствие, прогулка вдвоем Бог знает где сейчас же возбудят сплетни и, во всяком случае, покажутся неприличными.

Нужно как можно скорее вернуться в зал. Нужно показаться совсем спокойными. Нужно притворяться, тщательно скрывать ото всех свое счастье...

Это притворство, это скрывание казались ему тяжелы невыносимо. Уходить от Гальшки, оставлять ее, не глядеть на нее, говорить с другими – да разве это возможно! Он решил сейчас же помимо всех приличий и обычаев переговорить с князем Константином Константиновичем, сказать ему все и просить у него руку Гальшки. К тому же, казалось, что он будет спокойнее, когда все станет известно князю Константину, в согласии которого он не сомневался.

Нужно идти. Ему хотелось еще раз обнять Гальшку, но какое-то инстинктивное чувство остановило его. Он уже владел собою и всякая горячая ласка теперь, в этой обстановке, когда еще ни Острожский, ни княгиня Беата ничего не знают, казалась ему профанацией его чистого, благоговейного отношения к невесте.

Он нежно отстранил Гальшку и поднялся с места.

Она тоже очнулась. Она в смущении взглянула на него и зарделась ярким румянцем.

– Князь... Дмитрий Андреевич... это правда?! – прошептала она.

– Пойдем, моя дорогая... успокойся... Я отыщу князя Константина, я скажу ему, что ты хочешь быть моей женой. Ведь да? Ведь ты согласна?..

– Дядя! да, иди к нему, скажи ему... скажи ему, что я люблю тебя... Мне самой к нему хочется... он так любит меня, он так будет рад за меня. Я его знаю, моего дорогого, доброго дядю. Но теперь, сейчас – этот шум, эти гости – я бы убежала от них подальше...

Они сделали шаг к выходу из грота. Перед ними бледный, смущенный, с отчаянный и виноватым выражением в лице, стоял Федя.

А Он кончил свой танец с Зосей. Он всюду искал глазами Гальшку и нигде ее не видел. Рассеянно спустился он в сад, ушел от толпы и нечаянно набрел на маленький грот. Он слышал последнюю фразу Гальшки, видел ее со своим князем, видел, как они смотрели друга на друга, и вдруг как будто что ударило его в сердце – он понял все. Он понял, что чуждые друг другу люди никогда так не смотрят в глаза один другому...

Еще день, один только день тому назад, он бы всей своей преданной душой радовался за горячо любимого покровителя. Отчего же теперь не радость, а тоска смертная охватила его, и он вдруг почувствовал себя самым несчастным, самым погибшим человеком?..

А между тем, князь и Гальшка, узнав его, успокоительно переглянулись. Сангушко еще незадолго до этого указал ей Федю в зале и рассказал про него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.